недостатков «злия дела добрыми», покаянием, слезами и милостынею, с помощью которых возможно внутреннее очищение.

Обобщенное «видение» человека позволяет Мономаху обратить внимание на его противоречивую сущность (обида вместо смирения рождает гнев и желание убить обидчика, и т. п.). А ведь во имя человека создан мир, который поражает Мономаха гармоническим сочетанием материального и духовного, разнообразием и целесообразностью своего устройства. Гармония мира предстает перед Мономахом как «чудо», и он не перестает ему удивляться. Наряду с общностью человеческой природы его поражает индивидуализированность облика каждого отдельного человека: «Как от персти создав человека, како образи розноличнии в человеческих лицих, аще и весь мир совокупить, не вси в один образ, но кыйже своим лиць образом по божии мудрости...»²⁶

Наблюдения над внешней и внутренней сущностью человека, почерпнутые из прочитанных им сочинений отцов церкви, приводят его к осознанию своей сопричастности человеческому роду («зана человек есмь»). Но этот вывод, сделанный не абстрактно, а пропущенный через свой собственный внутренний мир, сложность и противоречивость которого ему очевидны, неожиданно приводит его не к сознанию своей греховности и никчемности перед лицом высшего судьи и «законодавца», а к сознанию своей нужности для этих, противоречивых в самих себе, людей.

Так у него рождается потребность рассказать о том, что в нем, «дурном», хорошего, важного с точки зрения этой человеческой общности, «годного» для людей. А это противоречило христианской этике, и Мономах это понимает. Будучи великолепно начитанным в церковной литературе, он знает, что «никто же бо вскоре себе свидетельствуя достоверен в человецех, ибо «безумие есть оставити глаголы готовые и глаголати „моя“, яко тать есть и разбойник не от писания глаголай».²⁷

Он сознает, что его «грамотица» о самом себе, рассказ о подвигах ратных и богатырских, о своей хозяйственной рачительности и государственной мудрости, может встретить осуждение, как попытка самовосхваления там, где идеал — самоуничтожение и смирение. В Изборниках, аналогичных Изборнику 1076 г., ему, очевидно, не раз приходилось читать слова Исихия (Нила Синайского): «Бежи величания, о человеце, аще и велик еси, егда бога отмещающася, собе обрящещи».²⁸ Он пытается защититься от возможных обвинений: «Да не зазрите ми, дети мои, ни ин кто прочет: не хвалю бо ся, ни дерзости своея, но хвалю бога и прославляю милость его, иже мя грешного и худаго селико лет сблюд от тех час смертных, и не ленива мя был створил, худаго, на вся дела челоувечская потребна».²⁹

Однако это самооправдание вряд ли могло спасти Мономаха от осуждения. Совершенно очевидно, что то, каким Мономах раскрывает самого себя, не во всем соответствовало нормам христианской морали. Перед нами не только разумный государственный деятель и добрый христианин, но и полнокровный, жаждущий деятельности и подвигов человек, иногда беспощадный воин,³⁰ страстный охотник, восхищающийся своей ловкостью и выносливостью, а не духовным совершенством.

²⁶ Там же.

²⁷ Слово Петра Дамаскина (ГПБ, собр. М. П. Погодина, № 1256, л. 30 об.).

²⁸ Изборник 1076 года. М., 1965, стр. 295.

²⁹ ПСРА, т. I, стлб. 251—252.

³⁰ Так, в «путях» Мономах пишет без ноты осуждения о том, как он и его войска вместе с черниговцами «изъезахом город и не оставихом у него ни челядина ни скотины» (там же, стлб. 248).